



Л. И. ЛЬВОВ

Памяти Тютчева

1

Биограф Тютчева¹ отметил, что Тютчев родился в один год с поэтом Языковым, за несколько месяцев до Хомякова, за два года до Веневитинова и Глинки, пять лет спустя после Дельвига, четыре года после Пушкина, три — после Боратынского. Эту хронологическую справку можно дополнить напоминанием, что *умер* Тютчев уже шесть лет спустя после напечатания тургеневского «Дыма» и за два года до тургеневской «Нови», шесть лет спустя — после появления первого тома «Войны и мира», всего за два года до «Бесов», словом, что Достоевский пережил Тютчева всего лишь на восемь лет, а Тургенев — на десять.

Таковы внешние даты земного пути Тютчева: он был современником декабристов; почти сверстник Пушкина — он пережил его на тридцать шесть лет; выйдя на жизненную арену в «дней Александровых прекрасное начало», он уходил из жизни двенадцать лет спустя после освобождения крестьян, пережив эпоху великих реформ, всего за семь лет до цареубийства. Одно из самых юных произведений его поэтического гения было его «Послание к Пушкину» (ответ на пушкинскую «Оду на вольность»); жгучими стихами он тотчас же отозвался на 14 декабря 1825 года («Декабристам»); одно из замечательнейших его стихотворений написано в ответ на *цареубийственный* выстрел в Пушкина; оба Польских восстания, раскаты революций на Западе, наша скорбная Крымская эпопея и падение Севастополя, радикальная перекройка западноевропейской карты в 70-х годах, Бисмарк, Седан, германское единство, славянское освободительное движение, энциклики возгордившегося в своей не-

погрешимости папы, бунт старокатоликов и увлекательный призрак Вселенского собора, — заставляли трепетать натянутые струны его немолчного страстного сердца. Умирая, Тютчев мог отчетливо ощутить, что Россия действительно в *дыму*², что *дым*, окутавший беспредельные просторы нашей России, не только фантом беллетриста, и что за этим дымом стоит «нечто гораздо более серьезное, чем только унылая резиньяция писателя-художника. Поджигатели-бесы в последние годы тютчевской жизни вырывают Достоевского страницу за страницей жутких пророчеств, а из тютчевских писем мы знаем, с каким напряженным вниманием следил Тютчев за процессом жуткого революционера Нечаева.

Итак, от Пушкина до Достоевского — вот жизненный путь Тютчева³.

А если выходить за пределы суверенного царства поэзии, то не замечательно ли, что начав робким ученическим подражанием державинской лире, Тютчев написал свое «*Silentium!*», в наши годы торжественно занесенное на скрижали еще недавно столь полновластного русского символизма.

2

Всю жизнь Тютчев был поэтом — включительно до самых последних дней своего земного существования, когда, разбитый параличом, прикованный к постели, он бессильно тянулся к карандашу, чтобы отказывавшейся слушаться рукой записать уже не поддававшиеся магии искусства последние наития Музы.

И так же на протяжении всего его земного пути его мысль никогда не покидала России. Россия, как великое неотступно, стояла перед ним всю жизнь и перед 20-летним мальчиком, внимавшим пушкинским строфам о вольности, и — чуть позднее — когда из далекого Мюнхена он бросал грома и молнии на головы осужденных декабристов или после расстрела восставшей Варшавы пытался утолить жгучую польскую обиду, слагая торжественные фанфары великому всеславянскому призыванию России, — или еще позднее — когда в его поэзию широким потоком ворвались ослепительные лучи его учения о всемирной монархии и православной Империи, его огненная публицистика на тему о гибели Запада, об антихристианском атеистическом революционном принципе, разъедающем Запад, о великой спасительной миссии России.

О России пели стихи Тютчева, и России была посвящена и его публицистика. Наконец, практическому служению России — государственной службе — он безуспешно мечтал отдать свои силы. О России, всегда о России он без конца писал близким в своих интимных письмах, и о России он, наверное, постоянно напоминал своим собеседникам и в беседах, к несчастью, оставшихся, никем не записанными.

3

Когда теперь, спустя полвека после его смерти, перечитываешь тютчевскую публицистику и тютчевские письма, часто поражаешься, насколько властны у него те же слова, к которым мы привыкли только за последние наши годы, и как жгуча у Тютчева та же самая боль, которую мы испытываем и теперь, в наши смутные дни, как много у Тютчева, в иной постановке, в иной связи, но все же наших же современных прогнозов, наших предвидений, наших пророчеств.

— Революция — последнее слово вывихнутой цивилизации, не болезнь роста, но смертельная болезнь, подобно неизлечимому раку.

— Революция, разнообразная до бесконечности в своих степенях и проявлениях, едина и тождественна в своем принципе, и из этого-то принципа и вышла вся настоящая цивилизация Запада.

— Революция прежде всего антихристианский дух — душа революции.

— Революция, это — новейшая современная мысль во всей своей целостности, а сущность последней в утверждении, что человек зависит только от самого себя, что в нем самом, а не в чем-либо стоящем во вне его, источник всякой власти. Современная мысль, эмансипируя человека от Бога, отнимает тем самым всякий авторитет у земной власти, и потому в наши дни не может существовать никакого принципа власти для общества, которое было христианским и перестало быть таковым.

— Человеческая природа вне известных уверований, преданная в добычу внешней действительности, может быть только одним: судорогой бешенства, которой роковой исход только разрушение. Это последнее слово Иуды, который, предавши Христа, очень основательно рассудил, что ему остается лишь одно: удавиться...

— Итак, атеизм неуклонно влечет к отрицанию принципа власти, к утверждению анархии, и потому западная цивилиза-

ция, противопоставлявшая христианству и провозгласившая безбожие, сама неминуемо устремляется к концу, к гибели, к катастрофе.

«Unlergang des Abendlandes»⁴ (как сказали бы мы теперь, 50 лет спустя) — не пророчество, а живая действительность.

«Запад падает, все рушится все гибнет в этом общем воспламенении, Европа Карла Великого, так же как и Европа трактатов 1815 г., Римское папство и все западные королевства, католицизм и протестантство, вера уже давно утраченная, и разум, доведенный до абсурда, порядок, отныне, невозможный, свобода, отныне невозможная, и над всеми этими развалинами, ею же нагроможденными, цивилизация, лишаящая себя жизни собственными же руками...», — откиньте из этой тютчевской тирады звучащие анахронистически напоминания о европейских трактатах 1815 года и вместо западных королевств введите современный термин «западная демократия», и вам почудится, что вы присутствуете при чтении политико-философского трактата наших послеверсальских лет.

Но Тютчев не был только мрачным вещателем надвигающейся катастрофы и не мог бы успокоиться на одном только этом отрицательном беспощадном приговоре над современностью. Он стремился увидеть и что-то положительное в бушующей вокруг него современности, убедить себя и других, что непреложный конец западной цивилизации оставит в мире не только одни развалины. Нет, перед Тютчевым, как теперь перед некоторыми нашими современниками, идея гибели Запада предносилась на фоне торжества нашей России: гибели Запада. Тютчев противопоставлял спасительную миссию, великое всемирно-историческое назначение России, подразумевая под Россией весь европейский Восток. Россия противостоит Западу как чуждая и неподвластная ему стихия. Россия — целый особый мир, живущий своей собственной органической жизнью. Европе Карла Великого противостоит другая Европа, Европа Петра Великого, — великая Империя Востока, грядущая Греческо-Российская Империя, слабым прообразом которой была первая Империя Византийских Кесарей. Запад, разъедаемый всеотравляющим началом Революции, — всего лишь одна половина великого органического целого, и то бессилие, на которое он обречен, возмещается той творческой энергией, которую таит в себе сосредоточивающийся вокруг России Европейский Восток. Пожирающая Запад Революция будет подавлена Россией. Россия и Революция — заклятые враги, между ними немислимы никакие переговоры, никакие сговоры, никакие трактаты, и ан-

тихристианское начало Революции в конечном счете отступит перед Россией, перед окончательной христианской Империей. Это окончательное торжество России ознаменуется и торжеством Православия над обессилевшим все тем же революционным ядом католичеством — революция будет преодолена на Западе отречением католичества от допущенного им искажения истинного христианства и утверждение Восточной Империи ознаменовано будет воссоединением Церквей. Так сквозь громы и сотрясения 48-го года Тютчев провидел приближение дивного и светозарного исхода.

Три четверти века, отделяющие нас от этой тютчевской публицистики, казалось, до основания потрясли и сокрушили эту ослепительную философско-историческую концепцию поэта-публициста. Теперь, не слишком вдумываясь в происходящее в России, многие и многие, конечно, скажут, что если предвидимое Тютчевым противоборство России и Революции и имело место, то оно завершилось совсем иным исходом, чем тот, о котором так возвышенно грезил Тютчев. Не подлежит никакому сомнению, что среди нас многие склонны признать, что старинное пророчество Тютчева на наших глазах получило окончательное сокрушительное опровержение, что вопреки тютчевскому предвидению Революция и Россия оказались в конце концов не только не противниками и не антагонистами, но, наоборот, союзниками и заговорщиками, и что именно Россия и Революция, а не Запад и Революция (как это утверждалось Тютчевым) рука об руку пошли по пути сокрушения старой цивилизации. Но как бы ни казалось для некоторых убедительным это развенчание тютчевской теории, все же возможно утверждать, что неизмеримо ближе к истине будут те из нас, кто, вспоминая теперь тютчевские заявления, продолжают упорствовать в своем утверждении, что Россия противоборствует Революции даже и теперь, когда она стала по внешности наиболее революционной, и что овладевшая Россией революция представляет из себя не более, как только временное искусственное внедрение в организм России извне — и именно с Запада того самого губительного революционного яда; разрушительную работу которого на Западе когда-то так настойчиво демонстрировал в своей философско-исторической публицистике Тютчев⁵. Во всяком случае, знаменательно, что и теперь, полвека спустя после смерти Тютчева — в эру революционной России — раздаются голоса — и не только одних «евразийцев»⁶, — о русском и западном кризисе, во многом совпадающие с забытым нами голосом Тютчева.

В конце 40-х годов, когда под воздействием справлявшей свои европейские праздники революции Тютчевым писались философско-публицистические статьи о России и Западе, спасительное всемирно-историческое предназначение России приносилось Тютчеву торжественно приподнято, радужно, неомраченно, без намека на какой-либо изъян и ущерб. Россия — Восточная Православная Империя — представлялась в те годы Тютчеву в образе святого ковчега, торжествующе всплывающего над развалинами западной цивилизации. Посещение Императором Николаем I храма св. Петра в Риме в 1846 году вдохновило Тютчева на патетическое восклицание о совершившемся после стольких веков отсутствия возвращении православного Императора на Запад. Но в 50-е годы в тютчевских письмах мы обнаруживаем уже совсем иное преобладающее для Тютчева настроение. Годы Крымской войны, с необычайной силой вновь всколыхнувшие его раздумья о судьбах Запада и России, с самого начала принесли Тютчеву глубокие разочарования и раз и навсегда внесли в его рассуждения не замечаемый прежде элемент горечи, упадка, раздражительности, опасений, тревоги. Продуманная им схема грядущего поддерживалась им со всей категоричностью и без малейших уступок и теперь. Падение Запада, поддавшегося Революции, и конечное торжество собравшей вокруг себя Восточную Европу России казалось и теперь Тютчеву столь же не подлежащим спору и опровержению, как и прежде. Но самый путь России к этому торжеству, к совершению ею ее всемирно-исторического предназначения — в представлении Тютчева все более и более усложнялся, и из прямого, легкого, каким он казался прежде, становился искривленным, нелегким, трудным и медлительным. В эти годы Тютчевым воспринимается идея о великих испытаниях, лежащих на этом пути перед Россией.

В 1853 году Тютчев писал Чаадаеву:

«Начинающаяся в этом году борьба — одна из величайших когда-либо отмеченных в истории человечества, но долгая, увь!.. — очень долгая, ибо она наполнит собой всю вторую половину этого века, так что поколение, начавшее ее, не увидит ее заключения. Много будет превратностей и испытаний, но последнее слово останется за Россией. Но то будет Россия бесконечно непохожая на современную, она преобразуется сама в себе...»

В целом ряде других тютчевских писем этих же 50-х и позднейших годов мы встретим неизменное повторение этой же темы.

Эти годы Крымской войны были для Тютчева годами познания России. До 1845 г. он в течение более двух десятилетий оставался за границей, и о России размышлял из своего «прекрасного далека», и только к 50-м годам — по возвращении на родину — он впервые лицом к лицу столкнулся с влиятельным и всемогущим Петербургом. Эта-то встреча и привела его, пламенного глашатая величия России, к отмечаемому настроению беспокойства и тревоги. Николаевский официальный Петербург наложил свою печать и на него, поэта-бюрократа, публициста-философа, получившего почетное назначение председательствовать в одном из российских цензурных комитетов: Тютчев незаметно для себя и против своей воли по отношению к официальной России занял оппозиционное положение. В переживаемые им годы, поставившие Россию один на один против всех европейских держав, это инстинктивное чувство протеста у Тютчева выросло в неумолчное патриотическое беспокойство, в жгучую патриотическую тревогу.

В письмах Тютчева этих лет мы находим самые жестокие, самые беспощадные, самые клеймящие слова по адресу Петербурга, уготовавшего России позорную капитуляцию Севастополя.

— Мысль, которая сама себя не понимает...

— Мстящий за себя угнетенный ум...

— Страна, обессиленная господствующей в ней посредственностью...

— Рушащийся целый мир, погибающая Империя под бременем глупости нескольких дураков...

Подобных восклицаний можно выписать из тютчевских писем безмерное количество.

После трагического конца Императора Николая I в 1855 году Тютчев писал в одном из своих писем:

«Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была невероятная ограниченность этого злополучного человека, который в течение своего 30-летнего царствования ничем не воспользовался, и все пропустил, чтобы начать борьбу при самых невозможных обстоятельствах. Конечно, его ошибки были только роковым последствием совершенно ложного направления, данного задолго до него судьбам России. И именно потому, что это отклонение так старо и глубоко, я предполагаю, что возвращение на истинный путь сопряжено будет с долгими и жестокими испытаниями»⁷.

Или вот еще одна замечательная цитата из Тютчева, относящаяся к 1858 году — к годам царствования Императора Александра II:

«Очевидно, что теперь под ногами не прежняя твердая непоколебимая почва и что в одно прекрасное утро можно проснуться на оторванной от берега льдине. Тишина, господствующая в стране, меня совсем не успокаивает не потому, что я считаю ее неискренней, но она, очевидно, основана на недоразумении. Ее причина в бесконечном доверии народа к власти, но все же невозможно не питать самых серьезных опасений, когда приходится видеть то, что делается здесь...»⁸

Перечитайте тютчевские письма, и вы увидите, что это чувство обостренной тревоги и создаваемое им гнетущее настроение не покидало его уже до самого конца жизни. В этой напряженной патриотической тревоге Тютчев прожил всю вторую половину своей жизни. Он был вдохновенным глашатаем великой всемирно-исторической миссии России, благородным представителем патриотического консерватизма, он твердо верил в конечную победу России, в конечное торжество России над всеми временными ниспосланными ей испытаниями, но все же прозаическая российская действительность последних десятилетий его жизни не давала простора спокойному течению его раздумий и мышлений.

5

Вот это-то страстное, неумолчное, напряженное беспокойство Тютчева теперь, пятьдесят лет после его кончины, нам, пережившим свой 1917 год, особенно понятно и близко. Теперь, вспоминая о Тютчеве, мы с особенной остротой ощущаем эту его патриотическую боль. Тютчев был одним из тех, кто наиболее твердо и беззаветно верил в великое будущее нашей родины, но путь к этому конечному торжеству России представлялся ему вовсе не торжественным церемониальным маршем победителя и триумфатора, этот путь России мыслился им как путь великих испытаний и великих страданий. Тютчев провидел нашу современную катастрофу, и это о нашей потрясающей Революции он писал еще в 1855 году свои пророческие стихи:

Стоим мы слепы пред судьбою:
Не нам сорвать с нее покров...

И дальше:

Еще нам далеко до цели:
Гроза ревет, гроза растет,

И вот в железной колыбели,
В громах родится новый год...

Черты его ужасно строги,
Кровь на руках и на челе;
Но не одни войны тревоги
Несет он миру на земле.

Не просто будет он воитель,
Но исполнитель тяжких кар, —
Он совершит, как поздний мститель,
Давно обдуманый удар.

Для битв он послан и расправы,
С собой несет он два меча:
Один — сражений меч кровавый,
Другой — секиру палача.

Что предвещали эти строки?.. Не нашу ли убийственную войну и не нашу ли «бескровную-кровавую» революцию!..

Но на кого?.. Одна ли выя,
Народ ли целый обречен...
Слова неясны роковые,
И смутен замогильный стон...

В 1871 году в одном из писем Тютчев писал:

«Главный интерес настоящей минуты, по крайней мере для меня, это *процесс* Нечаева, на котором я ежедневно присутствую по целым часам. Было бы невозможно пересказать вам всю эту животрепещущую действительность и все то грустное и роковое, что при этом обнаруживается... Весь этот так называемый заговор, не представляющий никакой опасности для государства, имеет большое значение *как симптом*, а еще важнее — *практикующие врачи*...»⁹

Бесы уже тогда кружили вокруг России и сбивали ее на злощастный роковой путь, и *дым* — «дым безотрадный, бесконечный дым» — заволакивал просторы России уже в те далекие от нас тютчевские годы.

1923

